

го, докуда его довели, усваивал я также не сразу; находчивости во мне было мало, и, ко всему, я страдал почти полным так что трудно даже поверить – отсутствием памяти. Поэтому нет ничего удивительного, что отцу так и не удалось извлечь из меня что-нибудь стоящее. А во-вторых, подобно всем тем, кем владеет страстное желание выздороветь и кто прислушивается поэтому к советам всякого рода, этот добряк, безумно боясь потерпеть неудачу в том, что он так близко принимал к сердцу, уступил, в конце концов, общему мнению, которое всегда отстаёт от людей, что идут впереди, вроде того как это бывает с журавлями, следующими за вожаком, и подчинился обычаю, не имея больше вокруг себя тех, кто снабдил его первыми указаниями, вывезенными им из Италии. Итак, он отправил меня, когда мне было около шести лет, в гиенскую школу, в то время находившуюся в расцвете и почитавшуюся лучшей во Франции. И вряд ли можно было бы прибавить еще что-нибудь к тем заботам, которыми он меня там окружил, выбрав для меня наиболее достойных наставников, занимавшихся со мною отдельно, и выговорив для меня ряд других, не предусмотренных в школах, преимуществ. Но как бы там ни было, это все же была школа. Моя латынь скоро начала здесь портиться, и, отвыкнув употреблять ее в разговоре, я быстро утратил владение ею. И все мои знания, приобретенные благодаря новому способу обучения, сослужили мне службу только в том отношении, что позволили мне сразу перескочить в старшие классы. Но, выйдя из школы тринадцати лет и окончив, таким образом, курс наук (как это называется на их языке), я, говоря по правде, не вынес оттуда ничего такого, что представляет сейчас для меня хоть какую-либо цену.

Впервые влечение к книгам зародилось во мне благодаря удовольствию, которое я получил от рассказов Овидия в его «Метаморфозах». В возрасте семи-восьми лет я отказывался от всех других удовольствий, чтобы наслаждаться чтением их; помимо того, что латынь была для меня родным языком, это была самая легкая из всех известных мне книг и к тому же наиболее доступная по своему содержанию моему незрелому уму. Ибо о всяких там Ланселотах с Озера, Амадисах, Гюонах Бордоских и прочих дрянных книжонках, которыми увлекаются в юные годы, я в то время и не слыхивал (да и сейчас толком не знаю, в чем их содержание), – настолько строгой была дисциплина, в которой меня воспитывали. Больше небрежности проявлял я в отношении других задаваемых мне уроков. Но тут меня выручало то обстоятельство, что мне приходилось иметь дело с умным наставником, который умел очень мило закрывать глаза как на эти, так и на другие, подобного же рода мои прегрешения. Благодаря этому я проглотил последовательно «Энеиду» Вергилия, затем Теренция, Плавта, наконец, итальянские комедии, всегда увлекавшие меня занимательностью своего содержания. Если бы наставник мой проявил тупое упорство и насильственно оборвал это чтение, я бы вынес из школы лишь лютую ненависть к книгам, как это случается почти со всеми нашими молодыми дворянами. Но он вел себя весьма мудро. Делая вид, что ему ничего не известно, он еще больше разжигал во мне страсть к поглощению книг, позволяя лакомиться ими только украдкой и мягко понуждая меня выполнять обязательные уроки. Ибо главные качества, которыми, по мнению отца, должны были обладать те, кому он поручил мое воспитание, были добродушие и мягкость характера. Да и в моем характере не было никаких пороков, кроме медлительности и лени. Опасаться надо было не того, что я сделаю что-нибудь плохое, а того, что я ничего не буду делать. Ничто не предвещало, что я буду злым, но все – что я буду бесполезным. Можно было предвидеть, что мне будет свойственна любовь к безделью, но не любовь к дурному.

Я вижу, что так оно и случилось. Жалобы, которыми мне протрубили все уши, таковы: "Он ленив; равнодушен к обязанностям, налагаемым дружбой и родством, а также к общественным; слишком занят собой". И даже те, кто менее всего расположен ко мне, все же не скажут: "На каком основании он захватил то-то и то-то? На каком основании он не платит?" Они говорят: "Почему он не уступает? Почему не дает?"

Я буду рад, если и впредь ко мне будут обращать лишь такие, порожденные сверхтребовательностью, упреки. Но некоторые несправедливо требуют от меня, чтобы я делал то, чего я не обязан делать, и притом гораздо настойчивее, чем требуют от себя того, что они обязаны делать. Осуждая меня, они заранее отказывают тем самым любому моему поступку в награде, а мне – в благодарности, которая была бы лишь справедливым воздаянием должного. Прошу еще при этом учесть, что всякое хорошее дело, совершенное мною, должно цениться тем больше, что сам я меньше кого-либо пользовался чужими благодеяниями. Я могу тем свободнее распоряжаться моим имуществом, чем больше оно мое. И если бы я любил расписывать все, что делаю, мне было бы легко отвести от себя эти упреки. А иным из этих господ я сумел бы без труда доказать, что